

Стихия скитальчества у корифеев русской литературы

Републикация Б. А. ЛАНИНА

Оригинал здесь: газета "Литература", No 36/2002.

8 июня 1880 года на торжественном заседании Общества любителей российской словесности справлялся пушкинский юбилей. Почтили празднество своим присутствием и западник Иван Сергеевич Тургенев, и славянофил Иван Сергеевич Аксаков. Сменяли друг друга мастера юбилейного красноречия; в меру витийствовали, в меру восхваляли, в меру печалились. Всё было пышно, юбилейно и чинно.

Mais quelqu'un troubla la fête: произошло нечто, сломавшее рамки официальных программ.

Это было выступление Достоевского.

Он взошёл на кафедру -- и она превратилась в трибуну. "Не прошло и пяти минут, -- рассказывал потом Глеб Успенский, -- как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого без различия присутствовавшего на собрании".

Какие-то невидимые нити протянулись от него к слушателям. В него вперились все глаза, каждое его слово ловилось напряжённым слухом в мёртвой тишине, в которой, казалось, можно было расслышать полёт мухи. Потому ли, что во всём зале не было человека, равного ему по силу его мятущейся человеческой души? Потому ли, что за Достоевским виднелась тень его прошлого -- политического преступника, в своё время на эшафоте уже простившегося мысленно с жизнью -- и в последний момент помилованного к каторге? Потому ли, наконец, что трагедия Достоевского особенно живо напомнила аудитории трагедию самого Пушкина -- вечно поднадзорного, друга декабристов, то и дело призываемого под стеклянные очи русского Августа ("но Август смотрит сентябрём" -- комически жаловался поэт друзьям) и затравленного придворной камарильей? Потому ли, что чем-то "нездешним" веяло от всего облика оратора, с изрезанными рытвинами морщин лбом, с глубоко посаженными, мрачным светом горящими глазами?

Достоевский думал сам (по-видимому, неправильно), что это его изобразил Некрасов в поэме "Несчастные", под видом загадочного арестанта -- "Крота", вдруг почувствовавшего в себе ветхозаветного пророка:

Корит, грозит! Дыханье трудно,
Лицо сурово, как гроза,
И как-то бешено и чудно
Горят глубокие глаза...

Нам неизвестны другие ораторские выступления Достоевского -- да ему и недолго оставалось жить после "лебединой песни" своей на Пушкинском юбилее. Может быть, что он так и сошёл в могилу, не распознав в себе "оратора Божией милостью": из тех, которые не вырабатываются, а рождаются, чтобы "глаголом жечь сердца людей". Но возможно также, что он был "оратором единственной речи", как бывают "авторы единственной книги", до такой степени исчерпывающие в ней свою духовную сердцевину, что им ничего более не остаётся, как давать ослабленные перепевы всё того же "лейтмотива" всей жизни. Так или иначе, но своды зала "Общества любителей" сотряслись от "никогда ещё в нём не слыханных рукоплесканий", то была овация, граничившая с "идолопоклонением". Недаром И. Аксаков заявил, что была "не речь, а событие", недаром вокруг оратора, ещё не остывшего от нахлынувшего вдохновения, теснилась толпа экзальтированных девушек; а юноша, прорвавшийся на эстраду, чтобы пожать Достоевскому руку, прикоснулся к ней и упал в обморок...

Ясно, что Достоевский задел в молодых сердцах какую-то трепетную, туго натянутую струну. Что же такое сумел он сказать о Пушкине?

Он говорил, что Пушкин дорог нам прежде всего не чёткостью музыкального ритма, не блеском воображения, не изумительной простотой, словно родниковой кристальностью поэтического стиля. Это -- много, но это -- ещё "не то". Прав был Гоголь, разгадавший в Пушкине "явление чрезвычайное и, может